

Галина
ЩЕРБАКОВА



ЖЕНЩИНЫ
в игре без правил

Галина Николаевна Щербакова **Женщины в игре без правил**

*Текст предоставлен изд-вом
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=130346
Женщины в игре без правил: Вагриус; 2008
ISBN 978-5-9697-0629-3*

Аннотация

Это истории женщин одной семьи и тех, кого они выбрали в игре без правил под названием жизнь. Самая старшая обрела счастье, уже не надеясь на него. Ее дочь «придумала» себе любовь и погибла из-за нее. А третья, юная и дерзкая, не хочет ждать чуда, ибо «слабых несет ветер», а она должна все в своей жизни сделать сама. Кто знает, что ее ждет впереди?..

Произведение входит в авторский сборник «Женщины в игре без правил».

Содержание

I	4
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Галина Щербакова

Женщины в игре без правил

I

К новым чувствам надо привыкать, как к новой обуви. Их полагается разносить. Елена босиком ходила по доставшейся ей в обмене квартире и думала другое: если она сейчас же, сию минуту не полюбит ее, как родную, то потом этого уже и не случится. Любовь бывает или сразу, или никогда.

«Начнем, – сказала она себе. – Дивный вид из окна. Лес, овраг... Деревянный мосток... Я буду ходить по нему с плетеной корзинкой, как какая-нибудь барышня-крестьянка. А навстречу мне будет идти добрый молодец... Все вранье... Я сроду на эти мостки не выйду... Да и на черта мне они? У меня от лесного кислорода голова болит шибче, чем от табачного дыма».

Елена отошла от окна. «Звения и подпрыгивая, как тот самый пятак», – подумала она.

Нет, любовь к квартире из пейзажа за окном не вырастала. Она прошлепала пятками по коридору: ровнехонько тринадцать ее лап. «Знала бы, не менялась», – засмеялась она. И снова это – звения и подпрыгивая. А потом стало совсем плохо: тринадцать стало преследовать ее на каждом шагу. Номер квартиры – девяносто четыре. Сумма цифр – тринадцать. Тринадцать рядков кафеля над плитой. Тринадцать с копейками метров маленькая комната. Номер жэка – тоже тринадцать. И как она не заметила сразу: номер ее дома тридцать девять, что есть не что иное, как трижды тринадцать.

А ведь у нее было с маклером условие – не тринадцатый этаж. Ну так вот. У нее пятнадцатый, а изнутри весь – насквозь! насквозь! насквозь! – тринадцатый.

Елена почувствовала, как ее охватывает паника, как ее отбрасывает назад – к слезам, неустройству, неуверенности, слабости, в которых она жила последние годы. Она ведь придумала: въедет в квартиру, повернет ключ и – пойдет новая, уже совсем хорошая жизнь. Потом, правда, она поняла, что не та она женщина: у таких, как она, битых и ломанных судьбой, поворот ключа не может решить все сразу и навсегда. И она дала поблажку себе – все будет не сразу, она будет изнашивать новую судьбу, не спеша, постепенно... Она полюбит эту квартиру, хорошая квартира, замечательная. Лес в окне. Мост через овраг...

А получилось... Тринадцать, кругом тринадцать... Захотелось бежать, но бежать было некуда. Захотелось плакать, но исчезли слезы. Захотелось позвонить, но телефон сволочи-сменщики унесли с собой. А она свой постеснялась. Старенький аппарат из казенных, неудобно забирать... Вот и осталась одна с «постеснялась».

Елена пустила во весь напор воду в ванну. И сказала зеркалу: «Не думай! Вены я вскрывать не буду. Я просто помокну».

Она уперлась ногами в бортик, приподнимая над водой тело. Розовые ногти торчали из пены и существовали как бы независимо и освобожденно. Это свойство красоты – независимость. А ногти у Елены – высший класс и на руках, и на ногах, жаль, нет конкурса по ногтям. Все бы рухнуло рядом с ней. «Выручайте меня, пальчики, выручайте! – прошептала она своим „независимым“. – Спасайте свою хозяйку». Она вынула из воды ногу, не такую уж длинную, как сейчас принято, но ничего, вполне, тонкая в кости, чуть суховатая, она набирала силу и нежность там, где самое место нежности. Елена знала, что у нее фигура из тех, что нравятся мужчинам. Она, как говорят в отделе, секси. Бабы ее этим подбадривали, когда она несколько лет по маковку сидела, как в дерьме, в своем жутком замуже, потом разводилась, делилась, шла от всей этой жизни паршой, чесалась, шелушилась, а бабоньки тут как

тут: «Ленка! Ты такая секси. Плюнь на все!» В минуты такого жалостливого сестринства ей хотелось сделать что-нибудь совсем уж непотребное: пописать, например, в вазу для цветов, стоящую на столе у начальницы отдела, дамы, у которой все было до такой степени тип-топ, что приходилось думать плохое о самом мироздании. Что ж ты так себя ведешь, мироздание? Примитивной тетке с пористым носом-рубильником ты дало более чем, а остальным пожлобилась? Или это у тебя весы счастья такие, как у нашей буфетчицы: всем показывают полкило, хотя и трехсот грамм не набегает? Что тебе дала эта, с рубильником? Какую взятку? Хоть спроси прямо. Но неловко же некрасивому напоминать о его некрасоте. В этом случае пописать в вазу лучше. Гуманнее.

Так они – ей. Ты секси, ты секси. Это значит – попочка, грудь, талия и шейка высокая, длинным серьгам болтаться раздолье. Опять же... У «рубильника» шеи *нет вообще*. И цыганистые клипсы, которые ей надо было выкинуть сразу, лежат у нее на плечах, как погоны генерала, а ей хоть бы что...

Зато ты – секси. Еж твою двадцать! Как ни странно, этот мини-гнев дал-таки результат. Он рассмешил. И Елена стала вспоминать разные отделские глупости, в которых она отходила от семейной беды.

Врагу не пожелаешь, что она пережила за последние пять лет. Пять лет монстр по имени «развод и раздел» сжирал не просто любовь, какая уж там любовь, сжирал всю ее жизнь. Каждый день она просыпалась с ощущением исчезающей жизни. Семнадцать лет – не халам-балам в биографии, но, оглядывая их, Елена видела изъеденную молью ветошь, которой место на помойке, она тащила ее туда, но оказывалось, что ветошь, битая, траченная, и ее тащила за собой. В ней, Елене, получалось – не было жизни самой по себе, без этих семнадцати лет. Леночка-секси – сама по себе – была где-то там, в розовом детстве и юношестве, но эта уже почти фантомная девочка ничем не могла ей помочь. Более того, она даже как бы мешала ей спасаться, она отягощала своей хрупкостью и слабостью. Тут бы самой выжить, а получается, еще спасай хорошенькую химеру с идеалами, принципами, воображением. Такое вот Нечто, такое НЛЮ собственной жизни.

Елена знала: она еще долго будет глодать эту кость. Будет ее закапывать от себя, но и вырывать, закапывать и вырывать, и грызть, и урчать над этим Ничем Жизни. Она была готова к этому. Ее мама после смерти отца десять лет говорила о нем как о живом и присутствующем. Елена просто заходила от раздражения. Как можно! Интеллигентная женщина. Теперь же сделала наблюдение: воспоминания ненависти, может, и круче воспоминаний любви. Так что держись, подруга! И держись подальше со всем этим от Алки, от дочери. Чтоб не высадились в ней семена неудачи. Это ведь запросто. У «носа-рубильника» дочь – совершеннейшая мартышка, но уж по маковку в любви и благополучии. Мироздание! Ты совсем спятило, или? Перед Алкой она будет разыгрывать «театр успеха». Хорошо, что лето. Время репетиции удачи. Хорошо, что она скинула дочь бабушке. Она обтопчет новую квартиру босыми ногами, она полюбит ее, как свою. Она повесит занавески, которые намечтала, выставит остатки керамики (ну мог ты, муж-паразит, не выхватывать из комплекта кружки-братины, я же предлагала тебе за них деньги!), она выскоблит кухню и купит (черт с ним, с новым пальто, если она и так секси) диванчик-угольник с яркой обивкой, а над столом спустит низко-низко лампу с абажуром под цвет угольника. Она скажет Алке:

– Дочь! Мы с тобой вот такая пара! – Елена вынула из пены кулак и выставила большой палец с выставочным ногтем. – Вот такая! А к папе будешь ездить в гости. Я не зверь...

Наверное, Алка фыркнет. Это у них такие отношения. Мать бесится, сходит с ума, дочь фыркает. Они в отделе часто обсуждают проблему дочерей. Одна оптимистка, тоже из разведенных, говорит так:

– Все путем. Дочь у меня зараза, но, слава Богу, не проститутка.

«Рубильник» сказала:

– Ну знаете... Так о своем ребенке...

Елена тогда была на взводе и ляпнула:

– Господи! Да пусть будет кем угодно, только бы любила мать! Только бы любила!

Это был момент, когда Алка решила, что с отцом ей будет лучше. Как она говорила: «дешевле». Елена тогда чуть умом не тронулась и даже додумалась: если такая цена, то не дам развода. Лучше мыкаться втроем, чем без дочки.

Откуда ей своим свороченным умом было сообразить, что Алка играла на нервах, что у нее был свой кайф по этому делу: ощущение себя призом гонки. И папочка гонится, и мамочка не отдает. Это ж что-то значит в жизни! Но прошло, как с белых яблонь дым. Дама сердца отца, которая отбивала у Елены метры и килограммы, в падчерице заинтересована не была. Разве что в момент пакости, чтоб сообщить в суде, что ребенок хочет жить с отцом, потому что «вы понимаете, какая мать». Вот тогда Елена ходила в парше и сдвинутой набок юбке, потому что в тот период секси в ней как корова языком слизала. Не было в ней ничего! Абсолютно. Скелет в парше.

Что и сыграло положительную роль. Женщине с возбуждательной попкой и высокой шеей могло бы дорого обойтись Алкино подлое поведение, а женщина в процессе шелушения у нас была, есть и будет первый человек державы. Она горит на работе. Она не возбуждает мужчин, а значит, и не является опасным для общества членом. Шелушитесь, бабы, шелушитесь, вам доверия от страны больше. Вы кость от кости или от чего еще там...

Сейчас Алка у бабушки на даче. Елена взяла две недели, не отгулянные в прошлом году, чтоб довести до ума квартиру и одновременно попривыкнуть к отдаленному месту. Что ни говори, а жила она всю жизнь в центре, на пяточке Курского вокзала. Меняться было очень трудно. Вариант, который подвернулся, считай, счастье, если у тебя голова не болит от леса и ты испытываешь умиление от вида деревянных мостков через овраг. Но это она так, гнусит по привычке, чтоб набить цену Курскому вокзалу. Квартира ей досталась хорошая, две отдельные комнаты, приличная кухня, ванная в кафеле, а на Курском она вечно держала в углу краску, чтоб замазывать чернеющие углы. И тишина. Блаженная, хотя, как обнаружилось, тяжелая. Было ощущение, будто в ушах у нее кляпы. Ну не кляпы. Кляпы бывают во рту. Но это *неизвестно что* хотелось стянуть, сбросить, чтоб в мозг вонзился голос станционного диспетчера, стук электрички, кляцанье стыков рельс и во всем этом шуме и гаме ты поискал бы и нашел себя, скукоженного, жалкого, но ведь живого, черт возьми! А как осознаешь себя в тишине, как себя найдешь? Где ты в ней?

Елена сочла нужным голой пройти по квартире. Пометить стены собственной тенью.

«Ничего, ничего, – говорила она себе. – Я уже вынырнула. Я еще булькаю, но я знаю, что жива. Я сейчас за себя выпью».

В холодильнике у нее стоял вермут. Последнее время они в отделе к нему пристрастились. И даже больше любили совковый, с зеленой обложкой. В нем сильнее, шибче чувствовалась полынь, в нашем вермуте она не исчезала ни от каких добавок и горчила, как ей и полагается. Они в момент застолий называли себя «сестры-вермут» и почему-то всегда говорили о том, что Россия сбилась с пути не от дурных политиков, не от неудобоваримых идей разных психопатов, а от манеры «заглотить внутрь» – без удовольствия, исключительно с одной жадностью. Тяпнуть, халкнуть – слова-то какие! В них нет процесса питья – один результат... Кстати, так же россияне ведут себя и в любви. «Ты кончила?» – вот и вся радость. Не успев начать – кончить. У русского человека нет движения времени, только стремительность конца. Быстро выпить, быстро трахнуть, абы как, абы как... Не отсюда ли стремление к войне как к универсальному способу ускорения жизни? Раз – и нету тебя. А то ведь – живи и живи... Живи и живи. Я русский, я хочу быстро кончить.

Сестры-вермут на процессе потягивания вермута дошли до многих экзотических мыслей, но они были русские сестры, умные мысли уплывали у них в никуда, в дым, бесхозные и легкие, они растворялись в космосе, питая его, и не было конца этим щедротам.

Елена налила себе вермута прямо в керамическую чашку, добавила сырой воды, выдавила лимон.

– За меня, – сказала она. – Пусть мне будет хорошо.

Она включила радио. Передавали сообщение о землетрясении на Дальнем Востоке.

Зубы застучали о чашку, и вермут потек по подбородку. Нет, она не знала тех, погребенных под обломками людей. У нее не было там родных и знакомых. Зубы стучали по ней, как тот самый звонящий колокол, который всегда звонит по тебе. Она не могла отделаться от ощущения предопределенности собственной судьбы. Стоило ей пожелать себе удачи, как ударило землетрясение. Елена ревела так, как не ревела никогда. Она не заметила, что обломилась кончик чуть треснутой чашки и из ее губы пошла кровь. Вместе с вермутом она стекала по подбородку, шее, в игре наперегонки капли вермута были куда шибче, они обгоняли кровь, которая как раз стыла на ходу, как бы засыпая... Слезы же... Слезы... Они шли своим соленым путем. Они не покидали ее, затекая в рот, и она сглатывала все вместе – полынь, соль и остаточную сладость вермута.

И в этот момент в дверь позвонили.

К ней никто не мог прийти. Никто. Значит, это ошибка. И можно сделать вид, что звонка нет. Она хотела посмотреть в глазок, но – дура какая! – постеснялась наготы, как будто ее видно за дверью. Она тихо поставила чашку и провела рукой под носом. Тут-то и обнаружила кровь. А звонок звенел пронзительно, биясь об стены полупустой квартиры, он отзванивал даже в стеклах окон, не прикрытых занавесками.

Елена на цыпочках сбегала в ванную и напялила халатик, на котором не хватало двух нижних пуговиц. На цыпочках подошла к глазку. Прямо в лицо ей смотрел страшный бородатый мужик, несоразмерный, искаженный по краям. У него не могло быть добрых намерений, потому что говорил он громко и грубо: «Откройте же, сволочи! Вы же дома».

«Конечно, – подумала Елена, – я же, видимо, включила радио в тот самый момент, как он вышел из лифта. Он это слышал». Она с ужасом смотрела на хлипкую дверь, которая выбивается одним ударом ноги. У нее не было телефона. Она знала, что соседи на даче: видела, как звенели они связкой ключей, закрывая две двери – простую и железную. Она тогда подумала: такую же дверь сделаю после углового диванчика.

– Какого черта? – закричала она изо всех сил. – Какого черта вам надо?

– Да откройте же наконец! – кричал ей мужик. – Вы что, нелюди?

– Нелюди! – кричала Елена. – Они и есть. И никого не ждем! И никого не звали! И если вы не уйдете к чертовой матери, я вызову милицию.

– Вызовите! – ответил мужик. – Я вас умоляю, сделайте это.

Это был измученный, вычерневший человек, у ног которого валялся рюкзак. Он не был страшен, скорее он был сам напуган или несчастен, ему сейчас шли все определения рода беды и горя, и Елена сказала: «Проходите!», забыв о недостающих пуговицах и вспомнив о них уже вослед абсолютно индифферентно скользнувшему по раствору ее халата взгляду мужчины. Он прошел прямо в кухню и стал пить воду из крана, припав к нему губами.

– Я дала бы вам чашку, – сказала Елена, смущаясь бутылки вермута на столе и чашки со следами крови. «То-то обо мне подумает! – решила она, но гордо отогнала мысли. – Еще чего! Буду перед каждым делать вид». По радио снова говорили о землетрясении.

– Где? – спросил мужчина.

– На Дальнем Востоке, – ответила Елена.

– Понятно, – сказал он. – Это ожидаемо. Извините, что я ворвался и вас напугал. Здесь раньше жил мой приятель, но не такой, чтоб сообщать мне свой новый адрес. У нас командировочная дружба. Вы мне не скажете, где он теперь получил квартиру?

– Понятия не имею, – ответила Елена. – У нас был сложный обмен. Нас было семеро в цепочке. Я вообще его не знаю. Я слышала, он переехал к женщине. Но, может, ошибаюсь.

– Знаю я эту женщину! – в сердцах сказал мужчина. – Я их и познакомил.

– Я ничем не могу вам помочь, – ответила Елена.

– А вы позвоните маклеру, – попросил мужчина. – Если есть цепь, значит, есть маклер?

– Маклер есть, – засмеялась Елена. – Телефона нет.

– А! – ответил мужчина. – Милицией вы меня пугали?...

– А что мне оставалось делать?

– Ну да! Я вас понимаю. Вы знаете, что вы в крови?

– Да, кажется... – Она побежала в ванную и увидела этот ужас – свое лицо. Красные зареванные глаза, размазанные по лицу сопли, кровь и слезы, снулые волосы вдоль щек, вспухший порез на губе и даже шея, у которой больше всего было шансов остаться пусть не победительной, но хотя бы не побежденной, была поникшей, согбенной выей, на которой ярмо просто классно гляделось. С нее бы картину писать: ярмо на шее. Чтоб ярма не было, а сама шея олицетворяла ярмо.

«Он не свататься пришел, – сказала своему изображению Елена. – Я его не знаю, и он мне никто». Она насухо вытерла лицо и стянула волосы резинкой. С тем и вышла – нате вам и извините за предыдущие сопли.

Но когда она вошла в кухню, она поняла, что ее горе – не горе, и вид ее – не вид, что на свете есть что-то и пуще.

Он сидел на табуретке и раскачивался на ней. У него были закрыты глаза и открыт рот. И изо рта шел тихий стон, и она подумала: у него кто-то там, в землетрясении. Ну просто не могло ей ничего другого прийти в голову, хотя он ведь сказал ей «ожидаемо».

Мужчина услышал ее и так сцепил зубы, что они у него скрипнули, а Елена почувствовала во рту крошево его зубов. Она даже провела языком во рту – крошева не было, но оно было! Со вкусом его пломб и табака. «Я схожу с ума», – подумала Елена.

– Вас покормить? – спросила она. – Хотите вермута? Или примите ванну?

Ну а что еще она предложит человеку? Она знала все человеческие способы спасения от беды: людям хотелось есть. Хотелось выпить. Она, например, лезла в ванну. Еще девчонкой она прочла роман любимого матерью Ремарка. Там в горе занимаются любовью с первой попавшейся женщиной. Она тогда так была этим потрясена и шокирована, что вынесла Ремарка за скобки раз и навсегда. Она была жуткая максималистка и считала: писатель пишет то, что способен совершить сам. Другого не бывает. Это, конечно, от мамы-пуристки, которая столько в ней высадила зерен такого рода. Но поди ж ты! Ремарка мама обожала. Не коробил ее грех у гроба. «Что ты такое, – думала тогда девочка Лена, – моя мама? Знаю ли я тебя до конца?»

– Извините, – ответил мужчина, – мне ничего не надо. Я сейчас уйду. Я был почему-то уверен, что вы знаете адрес. Ладно. Есть еще один приятель... Был бы телефон, черт побери!

– Ваш друг – жлоб, – сказала Елена. – Он увел свой телефон. А я – недотыкомка – свой оставила.

Он уходил. Это было правильно, с чего бы ему оставаться? Но во рту у нее были крошки его зубов. Довольно странный путь вхождения человека в человека. Сказать бы «сестрам-вермут», обхохотались бы.

– Это же так противно, – сказала бы «рубильник».

– Но ведь это «умственные крошки», – защищалась бы она.

Она провела языком во рту и снова ощутила боль человека, который цеплял на плечо неказистый рюкзак.

– Простите, – сказала она. – Но в порядке бреда... Если за этим дело... Вы можете остаться... Здесь две... Ах, вы же знаете... А дочь моя у бабушки... У нее узенький диванчик... Но это в порядке бреда...

Он стал сползать по дверному проему. Казалось, его тащит вниз не до конца напаянный рюкзак, вот он еще стоял, а вот уже сидит комом на полу, и плечо его покорно гнется под лямкой, и как-то неграмотно выворочены колени... Одни словом – человек у нее рухнул, а у нее никого из подмоги.

– Господи! – закричала Елена. – Вы сердечник? Гипертоник? Что с вами?

Она села рядом с ним, взяла в руки поникшее лицо и увидела, что он плачет. «Слава Богу, он живой. У него просто горе». Она даже не споткнулась на этой мысли «просто горе». Это что – мало? Но ведь она боялась смерти. Что бы она делала с ним? А так – слезы, она сама только что обсопливилась по самую маковку. Их просто вытирают, и с концами. С этого и надо начинать.

Она принесла из ванной мокрое полотенце и вытерла ему лицо. Станным оно было в ощущении – лицо чужого мужчины. Оно оказалось большим и сильным, и твердым, и Елена вдруг почему-то подумала, что никогда не ощупывала, не трогала руками лицо мужа. Случись ей ослепнуть, она не узнала бы его пальцами. А этот, что на полу, уже был знаком и крошевом зубов, и твердостью скул, и натянутостью кожи, и горбинкой носа, и широкими впадинами глаз.

– Спасибо, – сказал он. – Дайте мне вашего вермута.

Он продолжал сидеть на полу, и она принесла ему полный стакан и опустилась перед ним на колени. Он выпил залпом, но аккуратно, слизнув последнюю каплю с губ. И снова это нематериалистическое ощущение – капли на его губе. «Фу! – подумала она. – Это очень похоже на съезжающую со стропил крышу».

– Теперь подымайтесь, – сказала она строго. – И снимите рюкзак.

– Сейчас, – сказал он. – Сейчас.

Он говорил тихо и монотонно... В автокатастрофу попала дочь. Они сами петербуржцы. Вернее, дочь и ее мать. Он неизвестно кто. Перекати-поле. Вечный командировочный. В конце концов его за это отлучили от дома. «Понять можно», – сказал он тихо. Жена вышла замуж. «Хорошо вышла. За домашнего мужчину». Дочь – школьница. Решили прогуляться в Москву на машине приятеля. Ну и... Трое погибли. Двое в реанимации. А жена с мужем на Кипре. Два дня и ночь пролежал на больничном полу в приемной. Платил санитарке. «Кончатся деньги, потому мне и нужен мой приятель. Дома у меня есть. Я не бедный. Дочка в себя не приходит. Никто ничего не говорит. Один, правда, сказал: „Тот самый случай, когда решение не у нас – на небесах. Тамошние лекари определяют место ее пребывания. Проси Господа“». Он ходил в церковь. Становился на колени. Целовал иконы, все подряд. А вдруг он ей навредил? Он ведь некрещеный. Как она считает?

Она считает, ответила Елена, что ничего плохого любящий человек сделать любящему не может. (Какое вранье! – вспыхнула мысль. – Любящие именно и вытворяют черт знает что.)

– Нет, правда! – говорила Елена. – Вы не могли ей навредить. Не могли!

– Я не просто некрещеный, – ответил он, – я неверующий.

– Мы все такие, – сказала Елена. – Мне мама в розовом детстве объяснила, что Бога нет, а есть целесообразность природы, и человек – мера вещей. Недавно она отперлась от этих слов. Уверяла, что не могла мне сказать такой чепухи. А я эту чепуху вызубрила как дважды два. – Она вдруг застыдилась, что отягощает его подробностями своей жизни. – Вам надо ехать в больницу, и вам нужны деньги санитарке. Я правильно поняла?

– Нет, – сказал он. – Меня больше не пустят. Запретили. Ситуация стабильно плохая и будет такой неизвестно сколько. Ночью ничего не должно произойти.

– Значит, вы переночуете здесь, – твердо сказала Елена. – А утро вечера мудренее. Поищите знакомых, не найдете...

Она постелила ему на узеньком Алкином диванчике. На минуту ее охватила паника, что она ведет себя точнехонько по криминальной классике: принимает абсолютно незнакомого мужчину, поит его вином, клюет на его жалобную историю, а дальше... «Что я делаю?» Но все было уже сделано, и уголок одеяла был отвернут, как и положено у хорошей гостеприимной хозяйки.

А ночью она проснулась от стога. Гость стонал и метался, и у него скрипели зубы. «Надо дать ему реланиум», – подумала Елена и стала рыться в сумочке. На пластиночке в последнем гнездышке сидела последняя таблетка. Со стаканом воды и таблеткой она вступила в ночь комнаты мужчины.

– Выпейте таблетку, – сказала она. – Слышите меня? Я принесла вам таблетку.

Он не слышал? Он не слышал. Она видела мятущиеся волосы на белой наволочке. Во рту у нее было его крошево. Она поставила стакан на пол и скользнула к нему под одеяло. Ах, вот как это у него было! У любимого мамино писателя. Вот как! Спасение... Единственное спасение на земле – плоть закрываешь плотью...

Алка пила воду и не могла напиться. Хорошо, что она среди них королева и что ни делает, все ей можно, а так бы уж окоротили. Воды взято мереное количество, на пятерых три литра. Так вот она одна уже выдула литр.

– Ах, Алка! Ты даешь! – Вот и вся критика в ее адрес. Она любила приезжать в Мамонтовку и царить среди «местных». Казалось бы, до Москвы рукой подать, но, если по другому счету, по счету «городской – деревенский» – теперь говорят «местный», – то тут другой километраж. Достаточно прийти к ним на дискотеку, и уже все обозначено, полный атас. На девчонках не печать – клеймо: я тутошняя, тутошняя... Бери меня, хватай... Мальчишки получше, но тоже – «сырые сапоги». Это выражение у нее от дедушки. Не очень она его помнит, но то, как он каждый раз совал руку в ее ботиночки и принимал их, запомнила. И всегда, всегда вопрос-ответ: «Не сырые у нашей деточки сапоги? Сырые. Пахнут».

– О, папа! – вскипала ее мама.

– Я дедушка деревенский, – отвечал дедушка. – Сырые сапоги для меня дело жизненное.

Понятно, почему все местные мальчишки были сырые сапоги? Они пахли. Алка своими тонкими лепестковыми ноздрями поведет – и конец репутации. Но надо сказать – в смысле чистоты и гигиены она их почти обучила.

Потому что она такая! Она королева! Как было ей сказано в пять лет, так и в пятнадцать осталось. Королева приехала, королева!

А если уж совсем по-честному разбираться, то она Ко-ро-лѐ-ва. Убери точки – Королева. А если молодая и красивая? То-то...

Одним словом, началось с фамилии, а обернулось судьбой.

Она царствует в своей вотчине Мамонтовке. Цып-цып-цып – и они за ней стайкой. Поэтому она может пить хоть всю воду, съесть хоть все бутерброды – ей можно. Алке-Королевне.

Она захлебывается водой как свободой и властью. Как же хорошо жить! Смутно мелькнул в памяти рассказ: вчера на Ярославке разбилась машина. Отец ее приятеля Мишки, с которым у нее сто лет тянется-потянется дачная любовь, гаишник. Он сказал, что все погибли, двоих, правда, «скорая» взяла, хоть и не хотела, мол, не довезем, что все молодые дураки и почти наверняка были в поддаче. На этом основании отец запер Мишкин мотоцикл,

поэтому традиционные гонки были отменены, поэтому приперлись в лес и балдеют неконкретно.

Вода дает о себе знать, и Алка бежит в кусточки. Она сидит на корточках, пытаясь струйкой перекрыть дорогу муравьиному каравану. Нет, она не убийца, она в них не попадает, просто она создает им Великий Тихий на пути...

«Эй! – шепчет она муравьиному миру. – Кто из вас Ной?»

Поднялась, ширкнула молнией стареньких шорт... Он стоял и смотрел на нее. Парень.

– Ну и что? – резко спросила она его. – Интересно смотреть, как писают девочки?

Она знала это за собой – рождение в ней хамства и дерзости. Ничего-ничего, и откуда-то из солнечного сплетения, из переплетенности, завязи нервов выходил мохнатый головоногий карлик. Он прочищал свое горло прямо в ее гортань, и следом за его хрипом из нее это шло... И все равно, кто был рядом... Все равно. Не было в ее жизни ни одной человеческой особи, кто мог остановить головоногого. Попадало всем. Матери. Отцу. Бабушке. И это было не дай Бог. Попадало учителям и просто знакомым взрослым. И это было еще хуже. Попадало друзьям и подругам. И она столько потеряла в дружбе. Когда спохватывалась, было поздно. Ей не прощали, да она и сама себе этого не прощала. Поэтому даже таскалась к идиотке-психоаналитику. Когда цель была близка и имелось в виду, что головоногий карлик очистил от себя пределы солнечного сплетения, она сказала даме-врачевательнице:

– Вы знаете, что у вас пахнет изо рта? Вы не думали, что мой способ агрессии милосердней вашего? Подумайте!

И ушла, не забыв положить на подзеркальник конверт с гонораром. Головоногий ходил в ней кубарем от счастья сохранения прописки. «Чем он хуже других? – думала Алка. – Пусть живет».

Она стояла перед незнакомцем вся на изготовочку, ощущая в себе радостное возбуждение карлика.

– Я спрашиваю, – сказала она особым своим голосом, – словили кайф от подглядки? И как?

Таких выпученных от удивления глаз она сроду не видела. Парень как бы подавился, он даже потер себе кадык, чтобы сглотнуть то, что получил. Алка же, нежно переступив через муравьев, шла туда, где ее ждала компания, где, натянув козырек на самый нос, Мишка смотрит в ту сторону, куда она ушла, и ждет ее, ждет и всю жизнь будет ждать. Так она ему велела: «Жди!»

Она была почти рядом с чужаком, когда он наконец откашлялся и прозвучал.

– Девочка! – сказал он, оказывается, с насмешкой. – У тебя все дома? Или некоторые уехали за границу?

– У меня комплект, – ответила Алка.

– Пойди проверь! – засмеялся парень. – Очень подозреваю, что дома не все. Тебя, девочка, бросили на произвол судьбы. Бедняжка ты записанная!

И он ушел со своим последним словом, высокий парень с выгоревшими волосами, с большими глазами, которые чуть-чуть и могут сойти за выпученные, широкоплечий, узкобедный, потрясный парень, если разобраться, ушел от нее, как от собаки из подворотни, которая взяла и облаяла. Она идиотка, хамка, и от нее надо бечь. Что и было сделано.

– Там какой-то тип ходил, – сказала она Мишке. – Я в первую минуту на него накинулась... Мало ли... Лес...

– Так мы же рядом! – ответил Мишка.

– Забыла! – ответила она. – Я про вас забыла.

Ей уже не хотелось гулять. Она продолжала видеть спину, которая от нее уходила. Ей хотелось догнать ее и вернуть в то самое место, с которого все началось. Он ведь просто шел мимо, увидел девочку за кустиком, остановился, чтоб ее не спугнуть. Как она должна

была себя вести в этом случае? Смутиться, как всякая порядочная... Ну ладно, смутилась... Дальше?... Дальше у нее не получалось... Дальше снова и снова возникал карлик, потому что без него она не знала, что делать. Случилась странная задача, которая решалась только неправильно. Правильного решения она не имела.

– Не те слова! – сказала она себе, и Мишка, естественно, услышал. Во саду ли, в огороде, если она была рядом – он слышал только ее.

– Какие не те слова? – спросил он.

– Миш! – сказала она ему. – Ты не лезь мне в пупок, ладно? А то плохо кончится...

– Понял, – ответил он. И она поняла, что ненавидит его люто. За это самое – «понял», за это «всегда готов», за это «как скажешь».

Алка встала и пошла.

– Гуляйте без меня, – махнула она рукой всей компании, но опять же... Мишка возник и, как ординарец, пошел слева и сзади. «Я его сейчас убью», – подумала Алка, но, повернувшись, сказала: – Миш! Ну я прошу тебя... У девушки маниакально-депрессивный психоз... Ей надо в темную комнату...

– Иди, разве я тебя держу? – ответил он. – Я тоже иду домой. Разве нам не по дороге?

Так они и шли. Как бы вместе и как бы поврозь. Но карлик стерпел это насилие над собой и смолчал.

Хорошо, что бабушки не было дома. Алка села в скрипучую качалку, оставшуюся на терраске с доисторических времен, когда на этом самом месте жил один большой сталинский начальник – его дача и сейчас стоит в центре, витиеватая, ажурная, стеклянная... В ней сейчас коммуналка дачников. Бабушке подфартило получить комнатку с терраской в доме для челяди. Алкина мама как-то сказала, что в нашей стране выгоднее наследовать от челяди, а не от хозяина: так, мол, устроен русский характер. Алка с матерью соглашается с пятого раза на шестой, даже если та права. Она не согласна с ней не по деталям – по сути жизни, а значит, и слова ее изначально для нее несущественны. Но вот в разговоре о хозяине и челяди (Господи, да что они ей – эти птеродактили?) она как бы ухватила мысль и как бы стала перебирать пальцами. И она ей показалась ничего. Было интересно определять людей по основополагающему признаку: а ты кто в жизни? Из хозяев или из челяди? Кому из потомков подфартит больше?

Сейчас она скрипела в челядинском кресле и думала: жизнь у нее отвратительная: глупая, бездарная. Нашла себе тщеславие – петушиться перед «сырыми сапогами»... Да кто она есть? Дочь абсолютной неудачницы, которая ни по работе, ни по личной жизни не достигла ничего. Развелась с отцом, дура. Пилила его с утра до вечера, и то не так, и это не эдак. Нормальный отец был, не хуже других. Просто озверел от скулёжа и нашел другую тетку. Если бы можно было поменять мать, она бы не задумывалась. Она уже сейчас в кошмаре, как они будут жить вдвоем. Ведь мать ни разу в жизни ни одно утро не начала с доброго слова. Это сказал ей недавно отец. «Обрати внимание. Утро, солнце, воскресенье, а у нее сырой подвал, ночь и всегда понедельник».

Она обратила – все точно.

Конечно, она прописана у бабушки, и если у них с матерью не заладится, то она, не говоря худого слова, переключается по месту прописки. Хотя дуру-мать тоже жалко. Еще ведь не старая и все при ней, но чтоб кто-то куда-то позвал, пригласил...

– У тебя что, кроме отца, никогда никого не было?

Мать аж дрожит от гнева.

– А они мне нужны? Нужны?

– Нужны, – сказала ей Алка голосом карлика. – У тебя пропадает тело. Еще чуток – и у меня начнет пропадать.

Как мать на нее кинулась! Руками машет, орет... Оторвала у халата рукав. Сильная же! Дерется изо всех сил, а сдачи ведь не дашь.

Алка раскачивается на качалке. Сейчас самое время перейти к критике отца. Тоже, конечно, не подарок, но с отца мысль сама по себе – птица ведь вольная эта чертова мысль – оказалась опять там. В лесу.

«Господи! – возмутилась Алка. – Да что же это такое! Я что, так теперь и буду вечно писать в том лесу?»

Но сделать уже ничего было нельзя. Она вспомнила, как незнакомец, подавившись ее словами, трогал свою шею, и рука его в сгибе была – оказывается! – такой красивой, что ей хотелось ее тронуть, и от этого желания у нее сжались колени и так напряглись, что там – там! – стало сыро, и надо было идти менять трусики и шорты, но встать не было сил, и она подумала: «Вот, значит, как с дурами происходит. Они *сами* хотят».

Она было встала, но на крылечке возник Мишка. Господи Иисусе, ну меньше всего, меньше всего он был ей сейчас нужен.

– На дискотеку пойдем? – спросил он с крыльца, остановленный ее взглядом.

– Нет, – ответила она. – В такую-то жару.

– Посмотрим видюшник? Есть приличный ужастик...

– Нет! – закричала она. – Нет. Оставь меня в покое.

– Твоя бабушка возвращается, – сказал он. – Я ее перегнал.

– Тогда пошли к речке, – вскочила она. – А то меня начнут кормить и воспитывать. –

Она бежала бегом, через кусты, мелькая загорелым телом, а Мишка думал тяжелую взрослую мысль, что, пожалуй, у него не хватит ума повести ее за собой, догнать в убежении, что эта девчонка – его горе и это как бы навсегда. «Еще чего!» – подумал Мишка, но это слабенькое сопротивление было тут же опрокинуто оглашенным желанием догнать ее и тронуть рукой, а то и обхватить за плечи, а потом за руку вводить по илистому дну в ледяную воду и осторожно, нежно поливать ее плечи из ладоней, чтоб попривыкла к воде. При чем тут горе? Если все случится, как ему сейчас хочется, то пусть потом будет горе. Пусть!

Алка увидела его сразу. Хотя «увидела» – не тот глагол. Ибо это было некое вижу-чувствую, в котором на первом месте могут оказаться совсем не глаза... Во-первых, ее охватил смертельный холод. Холод коченения.

...Он полулежал на каком-то затронутом одеяле, по диагонали которого лежало что-то коричнево-золотистое, и Алке хорошо виделась впадина пупка и белесый перелесок волос, что как бы сбегал вниз, к самой главной впадине этой географии. По нему – по перелеску – проводил вверх и вниз пальцем мужчины, замирая у кромочки спущенных до самого крайнего положения трусиков, а потом как бы в бессилии подымался опять в гору до впадины пупка. Алка была одновременно пальцем, перелеском, она была пупком и золотым телом, но одновременно она была и гадюкой, которой где-то здесь обязательно полагалось жить. Гадюка змеила свое маленькое и совершенное тело по траве к сладкой женской мякоти, к шее, в которую так легко и незаметно можно вонзиться, пока эти двое шаманят над пупком и кромочкой трусиков. Алка умоляла гадюку быть бесшумной и милосердной: укусить неслышно и не больно, чтобы они продолжили свои последние игры, пока капелька яда яростно не внедрится в кровь и пойдет повсюду, уже не озираясь по окрестностям. И пусть будет этот сладостный момент, когда он обнаружит, что золотистое тело не отвечает его пальцам. Пусть он завопит, завоет, ей бы только успеть спрятаться, чтоб он не догадался, кто послал гадючью смерть.

Она же – золотистая – и на самом деле вскрикнула, но не умерла, а вскочила и бросилась в воду, а он закослапил за ней, пытаясь растянуть на себе весьма набрякшие в игре плавки.

Они с Мишкой подошли к воде, а те двое визжали и плескались уже на середине.

Алка попробовала ногой воду.

– Я тебя сведу, – хрипло сказал Мишка.

– Подожди, – сказала Алка. – Я подышу водой. – Она сняла шорты и закинула руки за голову. Так она кажется выше и у нее красиво натягивается живот.

«Посмотри на меня, – умоляла она того, кто плескался в реке, – посмотри. Я лучше ее!»

Мишка стоял по колено в воде, и его просто било током. Он не мог понять, что происходит с Королевной, но что-то точно было не так. От нее шел огонь. Но странное его свойство было в том, что огонь не запалил Мишку, а отекал его со всех сторон и уходил куда-то в глубину, в воду. Вот Алка подняла руку, и он, нормальный, не псих, видел, как брызнуло от руки сияние, как загорелись волосы на ее голове, и от этого вполне можно было ослепнуть. На нее было горячо смотреть, но попробуй не смотри. Но тут она вдруг быстро побежала, выставив вперед руки, а он – лопух лопухом – не сумел ни поймать ее, ни взлететь вместе с ней. Бултых – и она уже на середине, где кувыркаются Лорка Девятьева из многоэтажки и хмырь из санэпиднадзора, который зачастил в этом году на питьевые запасники. Работа у надзора не бей лежачего. Купайся – не хочу, гуляй-прохаживайся, ну а про Лорку и говорить нечего. Она принципиальная безработная. Ждет партию. Она так всех макает. Люди даже пугаются: какую партию, партию чего? А она повернется задницей и презрительно, через губу: «Быдло мамонтовское! Партия – это муж».

Может, санэпид и есть та самая партия? Тогда он, Мишка, ничего в этой жизни не понимает. Эта мысль стала настигать его все чаще – мысль-ощущение несовершенства собственного ума. Очень часто получалось просто до отвращения – он, Михаил Михайлович Бубнов, человек-дурак. Ну вот как понять, почему, например, Алка кружит вокруг Лорки и Надзора? Не понимает, что мешает тем трахаться в воде? Дура она, что ли?

Или совсем маленькая, не знает, для чего эта золотая кобылка побежала в воду? В речке же никого, а по берегу старые дачники изображают прогулки. Для ее личной бабушки – разлюбленное дело. Возьмет старуха зонтик и с песенкой «Догони, догони, только сердце ревниво замрет» насчитывает километры. Обхохочешься. Увидь бабушка сейчас внученьку, досталось бы любителям остренького.

Странно, но Алка в этот момент тоже думает о бабушке. Она жаждет выполнить бабушкин завет. «Умри, но не дай...»

– Эй! – кричит Алка. – Для этого дела есть отведенные места... Койки там. Диваны-кровати... А открытые водоемы для пионеров и школьников. Я ща вожатую на вас позову!

– Во чумовая! – смеется Лорка. – Я ее сто лет знаю. Они дачники. У нее бабка из газетных. И эта, видать, такая же...

– Она хуже, – отвечает Надзор. – Пошли отсюда.

– Еще чего! – веселится Лорка. – Пусть ведет вожатую. Или вожатого! Мишка! – кричит она Мишке. – Это твоя сколопендра?

– Алка! – кричит Мишка. – Выходи. Дай Лорке выйти замуж.

– Ха-ха-ха! – закатывается Лорка.

Надзор плывет к берегу и останавливается возле Мишки.

– Ты знаешь ее родителей? – спрашивает он.

– Ну, – отвечает Мишка. – А что за дела?

– Эту маленькую гадину пора вязать, – говорит Надзор, влезая в штаны.

Свалить человека, влезającego в штаны, может и младенец. Нет для него победы... Он обречен слабостью момента, когда старательно направляет ногу в штанину.

Человек же, идущий на него с набыченной головой, нравственный аспект – не бей слабого, – как правило, оставляет за пределами набычившейся головы. Мишка ударил изо всей силы, а когда Надзор рухнул, сказал над ним раз и навсегда:

– Пальцем ее тронешь или даже словом, собак спустим.

В дальнейшем не было разума и логики, в дальнейшем был хаос. И из первозданности его криков формулировалось нечто вне понятий.

Лорка кричала, чтоб Надзор не трогал Мишку (а кто его трогал?), потому что у него отец милиционер и «такая начнется вонь!».

Вылезая из воды, Алка кричала, что Мишка – говнюк, что она его давно ненавидит, что он ей обрыдл и вообще «не его собачье дело».

Кругом виноватый, Мишка покорно ждал, когда Надзор всунет все-таки ногу в штанину и даст ему сдачи.

Надзор же подошел к Алке и изо всей силы толкнул ее обратно в воду. Она упала неудачно, боком, захлебнулась, суетливо хватая руками осклизлый берег, видимо, поскользнулась и снова скрылась под водой, а они смотрели на нее и не двигались. Лорка – похотливая. Надзор со свирепым удовлетворением. Мишка с отчаянной жалостью, потому что понял: там, где выгваздывается в грязи Алка, где у нее разъезжаются ноги и руки, где ей плохо и противно, ему места нет. Это вчера он бы ее вытащил, и обмыл, и тапочки надел. А сегодня они в разных местах, и в ее пределы путь ему был заказан.

– Помоги ей! – сказал он Лорке.

– Скажите пожалуйста! – ответила та, но пошла к Алке и протянула руку, и пока вытаскивала из воды, Надзор ушел.

Мишка вздохнул и ушел тоже.

Начиналась новая эра.

По сдвинутой с места качалке Мария Петровна поняла, что внучка дома появлялась. По завернутому и сбитому коврику – что уходила быстро. По нетронутой марле на кастрюлях – что не ела.

Когда росла Елена, Мария Петровна была дамой очень занятой и в процесс роста дочери не вмешивалась. Она свято верила: нужные постулаты пробьют дорогу сами, если ребенок живет в нормальном окружении. Елена жила, по представлению матери, не просто в нормальной, а можно сказать, в гипернормальной семье: наличие культуры и отсутствие пороков. Хорошая выросла девочка, если отвлечься от неудачного брака. Никаких с ней не было проблем. Могла гулять сколько угодно («проголодается – придет»), и ни одного случая, на который бы можно было показать пальцем.

Ну конечно, она была готова, что с внучкой может быть иначе. Другое время, плохое время, между прочим. Без стержня. Но если нужные постулаты дать... Чертовы постулаты! На шестом десятке Мария Петровна была ввергнута на их счет в сомнение, что вообще-то не было свойством ее природы. Сомнение – это слабость, а она женщина сильная. Конечно, сомнение – это и признак ума, но у ума есть и другие, более мощные признаки. Например, сомневаясь – сомневайся.

Десять лет назад Мария Петровна похоронила мужа и придумала себе вдовство. Не правда ли, слово «придумала» сюда не подходит? Какое такое «придумала», если могила на Ваганьковском есть на самом деле? Но слово верное. Мария Петровна была публицистом не только по профессии, она была публицистом собственной жизни. Разговоры о покойнике как о живом – «папа сказал, папа просил» – доводили дочку до конвульсий, но это было так по-мариепетровнински – воплотить идею из ума и заставить ее функционировать как рожденную естественным путем. Она отмечала дни рождения мужа широко и почти весело, она – иногда – покупала ему вещи. Конечно, слова «вот купила папе свитер» и раньше, при жизни мужа, ничего не значили – она любила носить мужское, но сейчас!

Не берите в голову – она не была ненормальной. Абсолютно. Просто она украшала жизнь вдовством, а Елена кричала, что лучше бы она завела себе любовника. После таких разговоров Мария Петровна непременно шла «с папочкой» в театр и рассказывала, как

ему, воспитанному в старых мхатовских традициях, не нравятся эти новомодные штучки-дрючки. «Папа сказал бы, что из театра ушел дух». Елена на это отвечала благим матом. А кончилось тем, что бабушка в горе выжила и даже похорошела. Хотя никаких посторонних мужчин вокруг не намечалось, что говорило о слабозоркости мужчин, одновременно и об их тугоухости и туповатости. В свои пятьдесят четыре Мария Петровна временами выглядела лучше своей тридцатипятилетней дочери.

Человек – существо бесстыдное. Марию Петровну именно этим норовили уколоть. Выглядеть лучше дочери, это ж какие понятия надо иметь? Мария Петровна ставила людей на место не просто словом или там взглядом – взмахом ресниц, за что снова была осуждаема. Еще у Марии Петровны было в обиходе словечко «пфуй!», заменяющее многие другие, которые на кончике языка жили и у докторов наук, и у бомжей. Опять же народ сделал из него кличку – «наша Пфуй», но Мария Петровна – как не видела, как не слышала. Она говорила: «Я сроду не совершала пакости, с чего бы мне их получать?» – «С того, что люди – сволочи!» – отвечала Елена. «Люди всякие. Я общаюсь с порядочной половиной».

Просто надо объяснить, что за человек была еще недавно Алкина бабушка, потому что вытащенная Лоркой из воды Алка ведь идет к ней... Больше не к кому. Идет со своими синяками, не ведая, что именно она, сама того не подозревая, сломала твердыню под названием «Мария Петровна».

...Все началось полгода тому, началось с голой Алки, которая выползла из ванной и прошлепала включать «Санта-Барбару», зная, что бабушка «эти глупости» не смотрит по причине их примитивизма, это, мол, искусство для одноклеточных... Впрочем, это долгий разговор – пристрастия Марии Петровны в области кино и литературы... Это как-нибудь потом... Мария Петровна сидела в кресле и читала очень ослабевшую «Литературку» и в первую секунду она не признала в голой женщине Алку. У нее была внучка. Девуля. Моя кукла. У телевизора на тяжеловатых ногах стояла совершенно спелая женщина с мощной растительностью на югах тела, что разбегалась вширь и ввысь. Меховое нагорье, так сказать, доминировало в Алкиной природе, оно отбилося от ее тонких рук и жило как бы своей жадной, даже алчной жизнью. Это оно смотрело одноклеточную «Санта-Барбару», оно поглощало оладушки, оно же и вещало через детский лепет девочки-подростка. «Господи! – почти вскрикнула Мария Петровна. – Господи!» Она подняла глаза выше и была ударена вдругорядь – коричневыми нашлепками сосцов, уже сформированными для того, чтобы их хватали и рвали губами.

– Оденься, – хрипло сказала она внучке, но Алка присела на краешек дивна, не в силах оторваться от Иден и Круза, которые – в миллионный раз! – одаривали друг друга знаками любви и верности. Сидевшая же в небрежении девочка демонстрировала тайны своего устройства: влажное, розовое, мягкое пульсировало в ней, набухало, она сидела с открытым ртом и дышала прерывисто и хрипло. Мария Петровна едва не тронулась умом. Пришлось бежать в ванную, хватать халат, заворачивать Алку, испытывая при этом легкое отвращение, когда руки касались еще недавно такого сладкого детского тела.

Шок от голости был полнейший. Ну конечно, она знала, что Аллочка рано начала менструировать. Ну конечно, она знала, что попка ее чуть-чуть тяжеловата по нынешним стандартам. Но ей и в голову не могло прийти, что Алкино тело поспело и уже раскачивает хрупкую перегородку, ведущую его на волю. Боже, какие там преграды для этой шерстяной мощности ее волос. Смешно подумать! Никаких.

Но мы сейчас не об Алке. О Марии Петровне. Когда у нее подрастала Елена, она была полноценно живущей женщиной. Ей было весело и забавно посматривать, как девочка-дочь превращается в дочь-барышню. Возникающая рядом другая женская галактика не могла поколебать ее уверенности и силы. И уж смешно думать – не угрожала никаким образом. Алка же вышла к ней из ванны неожиданно, как из пены морской, и Мария Петровна почув-

ствовала смятение и неуютство. Нет! Нет! Не в том смысле, мол, жалко, что ребенок так быстро вырос. Мощным влажным лоном обожаемая девочка выталкивала бабку из женских пределов на засохшие обочины резервации, где, конечно, – живи на здоровье, но одновременно – и забудь! Молодая, энергичная и живая Мария Петровна в одну секунду превратилась в молодящуюся, суетливую и траченную смертью.

Она оглянулась, как это у других, что уже было нонсенсом – Мария Петровна сроду на других не оборачивалась. Вокруг кишмя кишело бабушками, и были они вполне. Она выбирала из них тех, у кого подрастали внуки... Наверное, ей показалось... Наверное... Но что-то было в их глазах, что-то было. Мария Петровна постарела тогда сразу и навсегда. В ту ванную, из которой вышла Алка, вошла женщина молодая, из ванной вышла женщина старая. Она еще не знала, какой механизм заработал, но какие-то шестеренки ее железно радостно выключили свои моторчики – сколько же можно им вертеться? По всей тайности ее тела пробежала легкая дрожь освобождения от натяга, от узды. Так начинают хлопать крышками и бряцать сумками ученики после звонка, они уже не так смотрят, не так говорят, иначе бежит в них кровь, а всего-то ничего – звонок.

Весь тот день Мария Петровна вела жесткое дознание себя и тайное – Алки. И как тут ни крути ни верти, вывод был один: время Марии Петровны кончилось. Наступило время Алки.

Вечером у Марии Петровны случилась рвота, утром она не могла встать от головокружения, у нее подскочило давление, а потом резко упало, пришедшее в разлад тело не подчинялось железной воле хозяйки. Все очень удивлялись такому слову, но сочувствовали гораздо меньше: Мария Петровна любила погнобить слабосильных товарок с бюллетенями в карманах.

Из болезни Мария Петровна, конечно, вышла, куда денешься, но это была уже третья женщина, если считать от той, что читала «Литературку», а на нее возьми и выйди голая внучка. Иногда у старых сказочных сюжетов про девочек в шапочках, бабушек в чепцах и волчищ – серых хвостов возникают мутации. И тогда вдруг и не поймешь, кто же из них кто и кто кого съел. Случаи мутации не редки, можно сказать – сплошь и рядом.

Так вот, третья Мария Петровна – спохватилась, старая дура! – встала с мыслью, что после смерти мужа у нее никого не было. А если совсем честно, то ведь никто и не посягал. Жила она себе и жила с придуманным этаким литературным вдовством, и не пришел в ее замороженный замок какой-нибудь мужичок с ноготок, не ударил кулаком по слюдяным окнам, не смел паутинные заросли фантазий и химер, не вывел на белый свет ее, совсем другую... Некому было Марию Петровну ни заломати, ни заципати.

И тут, конечно, не до смеха. Тут не дай Бог: проснуться и это осознать.

Мария Петровна переходила свою печальную реку одна, вброд и босиком. Когда оказалась на другом берегу с пораненными подошвами, то ощущение одиночества было таким оглушительно полным, что впору было обратно в реку кидаться, чтоб из нее уже никогда не выйти, но Мария Петровна сцепила зубы и терпела. Дочь была в разводе и обмене, внучка росла и спела на свежем воздухе и, казалось, ждала момента, чтобы рухнуть от спелости на землю.

Мария Петровна не из тех, кто других собой обременяет. Она встала и пошла по жизни дальше, испытывая мучительное и стыдное тяготение вниз живота, тоску и слабость в руках и ногах, какое-то совсем уж неприличное желание в забытом запахе мужчины, который обнял бы ее перед сном.

Мужчины не было.

К моменту же лета и дачи произошли некоторые события. Мария Петровна держалась за свою работу, кроме всего прочего, и из-за этой хлипкой терраски со скрипучей качалкой. Это казенное имущество уже стало по статусу полусвоим, а по сути так просто родным

и необходимым. На этом дачном участке она знавала древних стариков и старух, которым «конторы» из уважения к их сединам оставляли терраски для умирания. Сейчас пришло другое время, оно лишено сентиментальности и фальшивого почтения. Мария Петровна заплатила сумасшедшие деньги (по ее мнению) за возможность иметь полусобственность и мечтала хотя бы на этом этапе продержаться подольше. Тут-то и столкнула ее судьба с Борисом Ивановичем Кулачевым. У него надо было подписывать разные бумажки, он был одним из командиров бюрократического департамента. Мария Петровна приготовилась к волоките, к длительной осаде, была напряжена, но так все быстро и славно подписалось, так вежлив и приятен был бюрократ, что у Марии Петровны кончился нервный спазм, и она просто засмеялась на пороге кабинета, уже уходя из него. А когда Борис Иванович спросил, с чего это она развеселилась, Мария Петровна вернулась и мягко, с юмором рассказала, как она боялась его и как ей сейчас легко. Ей на самом деле было так легко и освобожденно, так расслабились в ней мышцы тела и радости, что нормальный мужчина не мог не учуять в немолодой интересной даме огромные неиспользованные резервы, и это был вполне хозяйственный взгляд на окружающую природу.

Они заболтались, потом он отвез ее на машине домой и всю дорогу это с ней продолжалось – легкое празднество. Так было естественно пригласить его на чашку чая, а потом обнаружить некоторые общие вкусовые пристрастия, интерес к хорошей литературе и неприятие бича времени – жлобства, и так далее. Мария Петровна просто расцветала под мягким изучающим взглядом своего гостя, который думал, что такую шикарную бабу проглядели ее ровесники-полудурки, что это просто гнусность, что в нынешних молодых женщинах до фи́га цвета и формы, а у этой формы нет или она заброшена, зато сколько другого. Она пахнет иначе, каким-то другим женским запахом, и сидит без этого геометрически правильного наклона ног, просто свела их в узелок, так естественно и уютно.

Возвращаясь от Марии Петровны, Борис Иванович Кулачев смеялся над собой, потому что новая знакомая была на девять лет старше его самого и его жены и на двадцать пять – любовницы. «Самое то! – смеялся Кулачев. – Самое то!»

Мария Петровна тоже смеялась, моя чашки после гостя. Какой милый оказался человек! Молодой человек, поправила себя Мария Петровна. Ему ведь, наверное, и сорока нет. В отличие от Кулачева Мария Петровна документов его не видела. Правда, пришла одна фальшивая мысль – вот бы такого зятя. Но это было время радости и легкости, а потому фальшь ушла сама собой. При чем тут дочь Елена? Это *ее* знакомый. Ему *с ней* было хорошо. Пощипывала мысль, что могут больше и не свидеться, бумажные дела окончены, но что-то молодое и нахальное пульсировало и подавало сигналы. «Хорошо, что я не способна спянуть», – думала Мария Петровна. Но, во-первых, в этом не было уверенности. А во-вторых, старые доблести доблестями не казались и имели довольно жухлый вид.

Дальше можно подробно, изо дня в день, а можно и переступить через лишнее, имея в виду слова, звонки, чай, конфеты «Рафаэлло» и прочее.

Переход в грех был радостным и естественным, хотя на его пороге Мария Петровна поклялась, что если что случится – это так, эпизод, что душевных сил она тратить не будет, откуда они у нее лишние? Конфуз же был в том, что пожилая дама была абсолютно неопытной в любви женщиной, она не знала своего тела, не знала секретов наслаждения. Спасибо, что хоть прочла два-три неприличных романа и не кричала караул от удивления. Мужчина же почему-то возился с этой необученной природой, хотя имел в стойле вполне подготовленных к специфической деятельности особ. Но этот давно заброшенный сад так приятно было обихаживать, а молоденькие барышни, которые попадали ему в руки, так сразу знали все, так не таинственно себя вели, что мужчине всегда бывало чуть-чуть с ними скучно и он даже спрашивал удивленно: «Да что ж вы все такие одинаковые?»

Тут же он получил и непохожесть, и незнание, и смущение, но главное – он получил собственное удивление: в этом изученном, казалось, до конца процессе столько еще неведомого, что иногда закрадывалась мысль: может, она его дурит, эта женщина? Может, это такой способ оболыбления у пожилых и опытных дам? Он допускал, потому как был человеком времени без иллюзий.

Мария же Петровна, ошеломленная случившимся с ней и озабоченная при всем при том мыслью не выглядеть совсем уж идиоткой, была абсолютно искренна в своем неумении, но обучалась весело и радостно.

Вообще, надо сказать, если уж выбирать ключевое слово в этих странноватых взаимоотношениях, слово это было – радость, в сущности, неведомое нашей душе по причине хронического дефицита в русской природе.

Все у нас есть, всего вдоволь, навалом, но никогда нет радости. Теперь завели моду улыбаться, но именно *завели моду*. Улыбка не пристает к русскому лицу, она как по-русски плохо вставленный зуб – всегда на виду, который хочется занавесить. Если бы писался не роман о любви и только о ней, то надо было бы срочно писать о радости, которой у нас нет. Которую Господь Бог, снаряжая в дорогу, по недосмотру ли (имеет же Он право на ошибку? Нас вон сколько, а Он один) или по рассеянности не положил в котомку русскому народу. И они вышли из божественных пределов насупленные и мрачные – русские, обижаясь за свою мрачность на всех остальных. А когда Бог спохватился (все-таки хочется закончить эту фантазию) и послал радость им вдогонку, Супостат уже усмотрел изъян в народе и очень возликовал. Он понял, что с большим и угрюмым народом легко играть в разные мрачные игры, в войнушки, например, в разбой и поножовщину. Да мало ли? Поэтому Супостат перехватил радость по дороге и закинул ее во льды океана. Северным сиянием полыхает она нам – наша закинутая радость. К ней бы гонцов послать, вызволить, да все некогда – того побить надо, того придушить, того спалить к чертовой матери, мало ли дел у Человека без Радости?

Но когда она в ком-то пробуждается, когда причудливым образом ее осколочек возвращается к человеку, тогда и происходит то, что случилось с Марией Петровной и чиновником Кулачевым. Случилась радость. Нет, не любовь. Ибо она, как и все у нас, с мрачностью и необычностью. «У-у-у! А-а-а! – гляди, какая я страшная». Почему-то лезет на кончик языка модное нынче слово, объясняющее нашу жуть, – харизма. Ну что бы нам другое найти? Так нет – у-у-у! а-а-а! Такая харизма.

Та весна, перед описываемым нами летом, была самой удивительной в жизни Маруси. Так он ее называл – Кулачев. И ей нравилось это подзабытое имя. Она всегда была Машей, а покойный муж называл ее по-ленински – Маняша.

Если бы не неурядицы в жизни дочери, не необходимость помогать, вмешиваться, разговаривать с зятем после того, как Елена говорила: «В следующий раз я его убью», то, может, окружающий народ и заметил бы некий свет в глазах Марии Петровны, а так все знали: у женщины разводится дочь, что называется, «прямо на материнном лице». Теперь такие дочери.

Между прочим, с обменом помог Кулачев, чего не знала Елена. Вернее, знала, что есть какой-то тип. Не больше. Он же нашел нужного, «своего» маклера, и тот быстро составил цепь. Мария Петровна лежала на согнутой руке Кулачева, вдыхая запах чистого ухоженного тела, и думала, что это уже несколько чересчур – его помощь в семейных делах. Лучше бы ему не знать их склоки, ведь он у нее «залетный гость», ему не пристало воду носить и дрова рубить. Мария Петровна очень баррикадировала пределы своей другой жизни, где она публицист, мать и бабушка. Она думала – тогда будет легче, когда он уйдет. Он уйдет с малюсенькой территории, на которую был допущен, а все остальное им помечено не было. Она тихо смеялась: собачку держали в прихожей, в дом не пускали.

Она была готова к этому каждый день, каждый час: Кулачев больше не придет. Исчезнет, и все. А он все приходил и приходил, и уже даже возникали проблемы, не пересечься бы ему с Алкой, которая пряталась у бабушки от остервенелой, покрытой паршой жизни матери.

Мария Петровна аккуратно сдвигала Кулачева по времени, принимая набеги Алки как факт безусловный. И хотя внутри ее набухал и фурычил гнев на посягательство и обида, что Алка – маленькая зараза, у которой вся жизнь впереди – откусывает и от ее пирога остатки, но все равно... Кулачеву доставалось то, что доставалось. И он был счастлив этим, потому что в эти неудачные, сдвинутые Алкой дни у них с Марией Петровной было как-то особенно. Это была не то что страсть – страсти он, что ли, не видел? – это было что-то другое. Женщина в его руках была мягка, податлива, послушна, но был момент ускользания, какого-то ее мгновенного побега... Он догонял ее, стараясь удержать, она отвечала ему с благодарностью и нежностью, что удержал, и вдруг ускользала снова, рождая в нем страх и ужас потери. Откуда ему было знать, если и сама Мария Петровна этого не подозревала, что это были деяния ее души, которая никогда не уходила прочь на то время, что она наслаждалась и страдала одновременно. Что пребывание в сексе души – русский способ любви, а партнерши Кулачева вызубрили американскую технологию, с огромным арсеналом точек и зон, со всем этим техницизмом, который, конечно, хорош, пока не знаешь лучшего.

Женщина с мягким податливым животом, с уже чуть суховатой кожей и лоном, которое уже не сочилось от первого прикосновения, женщина, у которой морщинок было больше, чем у его жены и прежней любовницы вместе взятых, которая дышала чуть хрипловато и до синевы прикусывала губу, эта женщина поломала к чертовой матери представления Кулачева о сексе, и он, оставив любовницу, с ее точки зрения, ни с того ни с сего, думал, что – не важно, что будет потом, – сейчас, сегодня и завтра ему нужна только Маруся, одна она.

В тот момент, когда Елена в ободранном и вонючем суде разводилась окончательно и бесповоротно, Мария Петровна получила от Кулачева предложение выйти за него замуж.

Сердце Марии Петровны радостно торкнуло и едва не остановилось совсем.

– Ты сошел с ума, – сказала она ему. – О таких вещах надо предупреждать заранее. Мало ли... Родимчик хватит...

Он не знал, что такое родимчик.

Это была их первая ссора. Не то что не было случая... Просто, когда возникало противоречие, Мария Петровна говорила себе: мне некогда его преодолевать и не нужно. Мне с этим не жить.

Но тут...

– Боря, родной! Ты замечательный, – говорила Мария Петровна, – но я никогда, никогда, никогда не пойду на это. Молчи! Отнюдь не из высоких соображений. Из низких... Не хочу быть старой женой молодого мужа. Просто сдохну от взглядов, слов, да от одного сознания, как я буду стареть в твоих руках. Такие эксперименты хорошо начинать в молодости. Был бы мне тридцатник, сколько бы у меня впереди было лет!

– Через два года будет конец света, – отвечал Кулачев. – Тебе это не приходило в голову? Я завтра попаду под машину... Чего ты машешь руками? Я не знаю, что будет потом, но мне нужна ты сейчас, вот такая, какая ты есть... Ну кто из нас виноват, что мы не встретились раньше? Но встретились же – Господу слава за счастье! Так что ж теперь – придумывать новое горе?

И как накаркал. Ее свалил страшный грипп. Увозили на «скорой». Лежала в Боткинской, в коридоре. Там они и познакомились, Елена и Борис. Борис деликатно исчез, а Елена спросила: «Это что, ваш новый сотрудник? Ну и пижон!» Была польза от пребывания в коридоре. Люди менялись, жизнь и смерть проходили, как по проспекту. Когда Марию Петровну стали переводить в палату, она даже расстроилась. Там уж оседлость. Там начнут вычислять,

кто есть кто... Главное, чтоб Елена не усекала. Палата же поняла все и сразу. Просчитала, как на компьютере: сын – не сын. Зять – не зять. Брат – не брат. Муж – не муж...

– Е-мое! – сказала выздоравливающая молодайка с отечными тромбофлебитными ногами. – Где ж вы нарыли себе такого любовника? В какой стране дураков?

Пришлось смеяться вместе со всеми.

– Дочка не в курсе? – спросила тромбофлебитная. – Тогда и не говорите. Ну их к черту, детей. Они нас за людей не держат. Они, гады, считают, что мы появились исключительно чтоб их родить. Фиг вам! Гуляйте, женщина, гуляйте, сколько б вам там ни было... А сколько вам, кстати?

– Все мои, – ответила Мария Петровна.

Выходил ее Борис. Нашел какое-то редкое лекарство, но это ерунда. Он приходил и сидел, высчитав предварительно уход Елены. Мария Петровна испытывала сразу много чувств. Первое и главное было горестным – он видит ее такой, больной, немощной, с осклизшимся возрастом. Второе – нелогичное. Пусть. Пусть видит. Возможно, завтра уже и не придет. Но он приходил. И тогда в ней ликовало третье – чувство абсолютной радости от его глаз, от его рук, от его губ. Господи, за что ей это? Было и странноватое чувство удивления: ни Елена, ни Алка в упор не видели ни соков, ни фруктов, ни красивых рубашек, которых еще вчера на Марии Петровне не было. Молодые, они уже давно изгнали ее из мира, где женщины и мужчины любят и ненавидят друг друга. Она была для них бесполой и пуста. «Коробочка, – думала их мысль Мария Петровна. – Коробочка, из которой все вынута».

Тогда она протягивала Алке и Елене изысканные конфеты и говорила: «Это мне поклонник принес». Елена поджимала губы и говорила: «Мама! Берегись! У климакса много проявлений». А Алка реагировала по-другому: «Бабушка! Старика нам надо обязательно богатого. Чтоб умер и было что делить...»

Бедные девочки, думала Мария Петровна. Бедные мои...

На дачу Мария Петровна первый раз в жизни ехала с неохотой, но надо, надо Аллочку перед десятым «накислородить». Они теперь встречались с Борисом в машине. Это же надо такое вообразить! Так как это ее все-таки шокировало, Борис отвечал одним и тем же. «Маруся! Конечно, надо с этими пятиминутками кончать».

Вот откуда она возвращалась в тот день, когда Лорка Девятьева вытащила из речки Алку, а дочь Елена проснулась с ощущением, что у нее был тиф, температура сорок два, предсмертный кризис, а сейчас она вся в поту, хочется есть, пить, а с ней рядом почему-то чужой мужчина.

...Оно возникло независимо от нее – напряжение тела, ей казалось, что она замерла тихо, а он понял ее замирание и еще в своем сне положил на нее руку. Положил на самое болючее ее место – солнечное сплетение. Как он узнал, спящий, что именно отсюда у нее начинается все – тошнота, рвота, скрюченность тела, мятущееся во все стороны сердце, «как свежая рыба в раковине под ножом», объясняла она врачу. «Ну и? – отвечал он. – Что вы делаете с рыбой?» Она встала и ушла, он догнал ее в коридоре, взял за руку, а она стала биться, вырываться, а медсестра спокойно сказала: «Да бросьте вы ее. Типичная шизофреничка. Весеннее обострение».

Поэтому Елена замерла под ладонью, от которой шли тепло и нежность, и комковатый узел возникающей боли, не начавшись, всхлипнул и успокоился.

Она повернула лицо к мужчине и поцеловала его в скорбно сжатые губы. И тут же снова уснула.

Проснулась она окончательно под звуки бежавшей в ванной воды. Надела халатик на легкое голое тело, тихо вышла в коридор. Рюкзак был раскрыт, пачка печенья, лежавшая сверху, была надорвана.

И кончилась ясность... Как же, оказывается, легко договариваться руками и губами, какой сладкой наперсницей может быть ночь, тогда как день, высветивший крошки печенья в раскрытом рюкзаке, сбивает тебя с ног наповал.

«Боже! Какие я должна сказать слова, – думала Елена. – Какие?»

Он вышел из ванной, выбритый, в чистой рубашке.

– Доброе утро, – сказал он. – Меня зовут Павел. Это ничего, что я включил чайник?

– Я вам сейчас покажу, где и что. – Елена проделала это быстро, голос у нее был чужой, чашка на стол звякнула со значением. Она поставила одну чашку и ушла в ванную. Стоя под душем, она понимала, что ее несет куда-то в сторону от места, где ей было хорошо и покойно, что надо сейчас же выйти и выставить вторую чашку, и выпить с ним общий чай-кофе, и сказать ему: «А я Лена». Она уже заносила ногу за бортик ванной и тут же возвращала ее обратно. Она металась между полотенцем и водой, в зеркале отражались ее жалкие, растерянные глаза. «Еще минута, и я опять стану той же разведенной бабой-неудачницей, у которой все из рук вон... А я хочу и могу быть другой! Другой! Я могу быть счастливой и могу быть щедрой. Меня приятно ласкать, я сладкая, вкусная, мне объяснили это, так какого же черта я вымываю в себе эту радость, которую мне послал Бог? Почему я иду на поводу у собственной неудачи, зачем именно она стоит у меня в подпругах? Господи, что со мной и кто я есть?»

Во всяком случае, Елена проторчала в ванной капитально, а когда вышла из нее, гостя уже не было. Чашка была вымыта и опрокинута вверх дном на блюде. И все. Она заперла дверь и заплакала.

День предстал перед ней желтый и горячий, как пустыня. Бесстрастное солнце плавилось краями и стряхивало вниз капли огня. Люди надевали панамы и шли себе и шли, так как давно привыкли к равнодушной жестокости солнца.

«Я не выйду из дома, – сказала себе Елена, глядя на горячий простор дня, – я буду ждать вечера».

Легко сказать! Без телефона, без дела она тупо стояла возле окна и пялилась, пялилась на горбатый мосток. По нему в лес от жары уходили люди, они носили яркие платья и яркие зонты, издали это было импрессионизмом и говорило о вполне благополучной и неспешной жизни. Открытость пейзажа не то чтобы раздражала Елену – что она, вурдалак, что ли, она подстегивала в ней собственную неудачу. Елена включила радио – шел репортаж с места землетрясения.

«Сволочь! – сказала она себе. – Сволочь! Как ты можешь? Разве у тебя обвалилась крыша? Разве где-то под развалинами твоя дочь? Мать?» И она снова заплакала, на этот раз уже обо всех несчастных, положившихся на прочность своего мира, а она оказалась никакой – прочность, – поморщилась земля телом от надоевшей ей бездарности человека, только поморщилась, а его и нету – человека. Ну как же ты, матушка, так могла? Не избирательно, не по совести, не за деяния или отсутствие их, а просто так – от отвращения? А может, не от отвращения, от боли вскрикнула земля, неухоженная, запущенная, измученная нами? Но когда тебя успели измучить маленькие дети, они-то при чем? А в чем вина дочери ее гостя, что дурного сделала девочка, лежащая сейчас в реанимации? Елена представила на ее месте Алку, липкий ужас накрыл ее с ног до головы. «Надо ехать к ним на дачу, – решила она. – Случись что, даже не дозвонятся. Надо ехать».

Она засобиралась, защелкала сумкой, но вот именно роясь в сумке, поняла: никуда не поедет, она будет ждать вечера, потому что не ждать не может.

Можно бесконечно много рассказывать, как было в два часа и в четыре. Как наступило полшестого.

Но мы расскажем о семи часах.

...Она рванулась на звонок в дверь, она не посмотрела в глазок, она не спросила, кто...

Мужчина был чужой, он улыбался вежливо, но и насмешливо тоже, он был ухожен, подтянут, и он был из другого мира – где нет землетрясений, автокатастроф, где женщины не шелушатся от дурных отношений с мужчинами, где не корчатся от боли под ложечкой, где не стоит завсегда в подпругах неудача.

– Вы не туда попали! – сказала Елена резко, пытаясь тут же захлопнуть дверь.

– Лена! – насмешливо ответил гость. – Вы меня знаете! – И тогда она – абсолютно нелогично – распахнула дверь и запричитала «заходите! заходите!», потому что решила: этот человек от Павла, от кого же еще, но пока он заходил, Елена вспомнила, что как раз имени ее Павел и не узнал, но вот познакомиться они не успели.

– Все-таки это ошибка, – пробормотала Елена. – Вам, видимо, нужна другая Елена, а я вас тоже не за того приняла.

– Я Борис Кулачев, – сказал мужчина. – Я друг вашей мамы. Мы с вами встречались в больнице, вы забыли, но нам непременно надо познакомиться поближе. Скажем, пришла пора.

На нее нашел поморок. Какие-то мелкие, суетливые мысли приходили, уходили, например, она сейчас босиком и в халате, не подумает ли он, что она намеренно *так* одета, а другая мысль сказала ей, что дверь надо оставить открытой на площадку, на что третья ей ответила, не все ли равно? Если это пришел душегуб, то пусть будет он. Пусть меня убьет чисто одетый человек, а не пьяный вонючий бомж...

– Я от жары поглупела и помню вас теоретически, – сказала Елена, – с меня бы мать шкуру содрала, если б узнала, что я дверь открыла не спрося.

– Так бы и содрала? – засмеялся Кулачев. – Вообще-то она у нас решительная.

– У нас? – не поняла Елена. – У нас что, одна мать?

– Нет, – засмеялся он. – Дело в том, Лена, что со мной случилось счастье – я люблю Марусю, вашу маму, и пришел у вас просить ее руки.

– Подождите, – сказала Елена, – подождите... У меня сегодня много чего случилось, а тут еще землетрясение... Я выпью таблетки.

Она пошла в ванную и в который раз сегодня тупо уставилась в зеркало. На нее смотрела старая женщина с землистым лицом. Дергалось веко, и волосы уныло обвисли вдоль щек. Эти проклятые волосы, которые мгновенно принимают форму ее настроения.

Что ей сказал этот ухоженный господин? Он сказал чепуху, вернее, он *что-то* ей сказал, а одурманенный солнцем и землетрясением мозг выдал ей какие-то невероятные слова, в которых не может быть ни правды, ни смысла. С ней явно что-то не то... Она нездорова... Ей не на пользу пошла ночная любовь... Он ее сглазил, тот пришелец... Говорят, приходят от дьявола... Или он сам... Она попросит этого, что в комнате, вызвать неотложку. Она ему скажет: я сошла с ума, мне послышалось, что вы у меня – ха-ха-ха! – просите руки моей матери... Вызовите «скорую».

Она вышла из ванной и так и сказала, и просто была ошеломлена жалостью, проступившей на его лице. Так смотрят на только что попавшую под машину собаку. Именно собаку, которую, конечно, жалеешь, но от которой и уйти хочется поскорее. Одним словом, собачья жалость.

– Лена, сядьте, – сказал Кулачев. – Я сомневался, идти к вам или не идти. Но, видимо, меня привел Бог. Если бы вам сказала Маруся, могло быть еще хуже.

– Какая она вам Маруся? Как вы смеете? – закричала Елена. – Вы сутенер, да? Сколько вам лет? Моя мать пожила дама, вдова. В ее квартире прописана моя дочь, и я костыми лягу, а не дам вам прописаться. Не делайте из меня наивную дуру, если вам каким-то образом удалось обмишурить женщину в возрасте климакса.

На лице его, как маска, приклеилась «собачья жалость». Ею он на нее смотрел. И уже ничто не имело значения – только оно – это выражение лица.

Так возникает парша. Из глубины тела рождаются тонкие иголки и прокалывают кожу. В месте укола происходит шебаршение – это края кожи начинают сворачиваться, как сухой лист. Ломкие, они тут же осыпаются, а из укулов с тоненьким посвистом выходит жизнь. Она будет выходить долго, еще не завтра и не послезавтра уйдет вся, а ты ходишь и слушаешь песнь ухода – шелест сухого листа и тихое печальное посвистывание.

Невозможно вынести присутствие соглядатая при этом.

– Уходите, – сказала Елена. – Я разберусь с матерью без вас.

– Нет, – ответил он. – Нет. Без меня уже ничего не получится. Я ведь на самом деле пришел к вам не разрешения просить, я пришел познакомиться. Ваша мама сопротивляется. Она боится вас. Боится внучки. Но я, как теперь говорят, крутой. Я сломаю ваше сопротивление. Но я не хотел бы начинать с лома. Скажите, любовь – достаточное основание для того, чтобы жить вместе?

– Я вам сказала. Там прописана Алла. Любой суд...

– Суда не будет, – ответил Кулачев. – У меня есть квартира. Маруся не знает, что я к вам пришел. Она бы всполошилась. Давайте все-таки сядем, и вы зададите все нужные вопросы. Кто я? Откуда взялся? Проверьте у меня документы.

– Я повторяю – уходите, – ответила Елена. – Я собираюсь на дачу и поеду. Я задам все интересующие меня вопросы матери. Она не Алла Пугачева, чтоб выставлять себя на посмеище и иметь с этого навар. Мать – обыкновенная женщина... Ей с простыми людьми общаться.

– Она необыкновенная женщина, – грустно сказал Кулачев. – Вы жили с ней всю жизнь и не заметили самого главного.

– О Господи! – закричала Елена. – О Господи! Вы уйдете наконец или нет? Я не хочу с вами обсуждать свою мать. Какая-то палата номер шесть! Откуда вы взяли на ее голову? Сытый, довольный... Я ненавижу вас, вы не смеете называть ее Марусей. Не смеете... – Елена уже рыдала, у нее тряслись руки.

Кулачев налил из чайника воды и подал ей чашку.

– Я пью сырую! – кричала она. – Сырую!

Он вылил воду и дал ей сырую. Вода бежала у нее по подбородку, стекала на халат, вода была холодной, и Елену стал бить озноб.

– Ложитесь, – сказал ей Кулачев.

Она послушалась, потому что у нее начиналась боль в солнечном сплетении. И легла на то же место, где была ночью. Кулачев накрыл ее простыней и пледом. Она закрыла глаза, пытаясь унять дрожь и боль. Куда-то ушел и гнев, и ненависть, осталась исхоладовавшая болючая одинокая слабость. Он, оказывается, включал чайник. Видимо, пытался что-то найти в холодильнике, но он был пуст. «Я ведь сегодня не ела, – подумала Елена. – У меня нет продуктов. Где-то была пачка печенья... Ах нет. Пачка печенья была в рюкзаке... Чей это был рюкзак? Ах да... Он ушел. А сегодня пришел другой... Сюда повадились мужчины...»

– У вас нет еды, – сказал Кулачев. – Выпейте горячий чай. Я капнул в него коньяку.

– У меня нет коньяка, – тихо пробормотала Елена.

– У меня с собой было, – засмеялся Кулачев, подавая ей чашку. Елена глотала горячую жидкость, сжигающую рот. – Я возьму ваши ключи и схожу в магазин. А вы попейте чаю и усните. Ничего не бойтесь. Я вернусь тихо и буду вас сторожить...

Она не слышала последних слов, потому что провалилась в забытие, тяжелое, но спасительное.

Проснувшись она глубокой ночью от тихого жужжания холодильника. Голова была ясной, сердце билось спокойно. Квартира была пуста, дверь закрыта, в кухне на столе лежала записка.

«Я вас запер. Приду завтра. Обязательно поешьте. Продукты в холодильнике. Отдыхайте и расслабьтесь».

Было три часа ночи. Елена открыла холодильник – в нем было все. На столе стояла бутылка коньяка.

«Наверное, так надо, – подумала она. – Чтоб сначала все было хорошо, потом все плохо, а потом неизвестно как, чтоб суметь определить, что это такое, согласно опыту. У меня опыт плохой жизни. Я не верю этим продуктам. Они слишком дороги для меня, чтоб я их признала за свои. И тот человек по имени Павел, который любил меня прошлой ночью, а я думала, что уже не способна отвечать на это, а получилось – сама пошла, первая... Так вот это, наверное, тоже не мое. Правильно я не любила Ремарка. А мама моя – дура старая... Ну если у меня нет этой легкости жизни и радости, откуда взяться этому у нее? Из одного ведь теста слеплены. Правда, Ремарка она любила...»

Мысли не заводили Елену. Она была спокойна, она была как бы извне ситуации, и ей даже нравилось это состояние отстраненности.

«Он меня запер, чтобы я не уехала на дачу. Умно. Оставил с продуктами и коньяком. Чтоб не сдохла». Почему-то по-детски радостно было представить, что у нее случится сердечный приступ и она умрет без помощи. И как дорогая мамочка будет рвать на себе волосы и изгонит этого типа. Но мысль, побыв секундно радостной, тут же увяла. И правильно сделала.

Елена включила чайник и подошла к окну. Была абсолютная чернота ночи, без светящихся окон домов, без фонарей, без стреляющих лучей автомобильных фар. Ей говорили при обмене обо всем об этом как о преимуществе. Сейчас же она почувствовала другое – ей нужны признаки близкой человеческой жизни, без них возвращаются смятение и страх. Она резко отошла от окна и включила свет во всей квартире. «Так-то лучше, – сказала она себе, наливая чай. – Сколько он мне добавлял коньяку?»

Она пила чай с *его* бисквитом. Была какая-то неправильность в этой внешне заурядной ситуации. Нет, она была не в том, что женщина пьет чай среди ночи и заперта в собственной квартире, а в том, что бисквит был нежен, а чай вкусен. А по всем параметрам в Елениной истории должны были присутствовать другие родовые там или видовые признаки. Чаю полагалось быть горьким, а бисквит должен быть черств. Странно, но думалось именно об этом. Она теперь не уснет, надо думать о матери, попавшей в ловушку. Ведь нельзя же всерьез принять все, что сказал этот тип. «Еще он забил мой холодильник». Это тоже была разрушающе неправильная мысль. Ведь если разобраться, зачем ему, молодому и здоровому, немолодая и не очень здоровая женщина с психопаткой-дочерью (а как еще он о ней может подумать?) и с неангелом-внучкой? К тому же он говорит, что у него есть квартира... Тогда во всем нет логики...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.